

Красиков В.И.

Скука

Гамма *скуки* обширна: от просто обывательского позевывания с хрустом: "Скучна!" – до ее метафизации в Большой Скуке. Скука в нашем случае – не легкая, периодическая рябь на поверхности нашей яви. Как хандра становится одним из наших жизненных профилей, так и скука постепенно превращается из эпизодического гостя в бесцеремонного постояльца нашей души. Скука из "нечем заняться", "неинтересно", "приелось" превращается в устойчивое качество восприятия мира. Как бы меняют цветные контактные линзы, обеспечивающие не только цвет глаз, но и цвет восприятия мира: вместо розовых, синих или зеленых в роговицу глаза непрошенно врастает серая.

Хандра, как реакция на длительное утомление, занижает не только самооценку и выхолащивает витальность, но соответствующее восприятие мира, которое образуемо, поддерживаемо нашей самооценкой и жизненными силами. Усиливается критицизм к себе, значительность своих дел и усилий резко снижается, изменяется и палитра восприятия мира, в которой блекнут интимно-радостные тона свежести и удивления. Но как раз они-то и придают новизну, яркость и непосредственность нашим переживаниям вещей. Их же присутствие определяется *состоянием само-уверенности*. Необычность и красоту в наше восприятие вносит вера в значительность нашего "я", для которого и цветет этот мир. Увядает наша значительность в наших же глазах – вполне адекватно начинает работать юпитеры, освещающие сценическую площадку под названием "мир, в котором мы живем". Могут ли они снова засветить в полную силу, возвращая в мир удивительность новизны, яркость и свежесть радостного изумления? Могут, если самосознанию достает еще сил вспрыть от спячки хандры и скуки.

Однако абстрактность чудесной возможности воскрешения, катарсиса почему-то всегда замещается прозаически-неотвратимой реальностью усугубления тлена, распада, энтропии. В восприятии, определяемом хандрой, мир *скучнеет*: фактура вещей теряет свои полнокровность, свежесть, новизну, превращаясь в плоские, затертые, надоевшие следы их, безжизненные условности. Это уже *отработанный мир*, из которого исчезают энергия, живость, все

приглушено, расплывчато, без контрастов. Чувства здесь притупляются, все ожидаемо и известно, а впереди уже неясно колышется аморфное марево будущего отчаяния.

Нет вызова-приглашения к подвигу в мире фальшивых улыбок понимания и истерик толпы, где просто не может быть подвигов, а есть только пустая экзальтация и скудоумие кликуш. Все прозаично и приземленно, заурядно и до обидного без перспектив. Все это чувствует, замечает сознание, способное хотя бы отчасти дистанцироваться от счастливо-суесящихся, роящихся масс, для которых, впрочем, так же модно стало натягивать на тупую, лоснящуюся от самодовольства, физиономию маску разочарования. Какой нынче интеллектuala без хандры-то? Впрочем и особое удовольствие от сознания аутентичности своей скуки, ее самородности и серьезности вряд ли можно испытывать. Любят свою боль и наслаждаются ею мазохистские натуры. Мир скуки – это тягостная данность, существующая в ощущениях хандрящего. Мир опробованный, испытанный, прочувствованный, взвешенный и найденный иссушающе безнадежным.

Такова скука со своей, так сказать "формальной" стороны. Она есть *форма*, качество восприятия длительно утомленного сознания. Но есть еще и содержательная сторона скуки. Не "как" воспринимается мир, а "что" в нем и в самом воспринимающем порождает умонастрой скуки. Скука есть, тем самым, умонастрой, связанный и порождаемый *особым знанием*. Последнее имеет житейско-практический характер. Это та умудренность, которой посвящена книга Екклесиаста. Само его жизненное экспериментирование было вызвано бегством от хандры. Знание о том, что дает человеку те или иные занятия в здраво-явственном сопоставлении с делами других и какое это может иметь значение, если сам экспериментатор в обозримом будущем превратится в тлен и брение, стало первым манифестом рационализирования скуки. Это знание не о мире, которое немерянно, а знание о непостижимости мира. Непостижимость обусловлена не какими-то непреодолимыми гносеологическими препятствиями, а самой природой человеческого существования. Главное из ограничивающих факторов – мизерность срока человеческого присутствия в этом мире.

Дело в том, что собственно плодоносное познание в индивидуальной человеческой жизни исчисляемо от силы одним,

двумя десятками лет и его реальные результаты невозможно по-настоящему полнообъемно концептуализировать: стиль мышления, навыки, интуиция, проекты пропадают со смертью невосстановимо для передачи. В среднем для формирования зрелого разума необходимо 30-40 лет, это практически пол-жизни. Даже если другую половину, без сюрпризов возраста увядания, он работает в полную мощь (что тоже редко, многие рано успокаиваются), то за вычетом сна, физиологии, релаксации, удовольствий и при условии 12 часового рабочего дня, набегает не более 20 лет. и то при идеальном раскладе, без отвлекающих факторов социального выживания. Ничего кроме фрагмента мира, может быть и существенного, но в самых абстрактных чертах, даже самый могучий разум познать не в состоянии.

Главное препятствие в постижении мира заключается, таким образом, заключается в *непрерывности разрыва познания* со смертью подлинного субъекта познания. Настоящим субъектом познания, познания прорывного (а не решения головоломок при имеющейся парадигме решения), является не научное сообщество, а зрелый, могучий разум, гений. Многие исследователи науки могут подтвердить, что и абсолютное большинство ученых, при всей их интеллектуальной развитости, это люди, закупоренные, впаянные в ментальное пространство господствующей парадигмы. Здесь мысли гения, умершего, цепко держат мышление целой армии интеллектуалов. Большинство ученых – узкие практики, прикладники, узкие специалисты, лишь применяющие общую теорию. Но и теоретики, так сказать среднего уровня, тоже находятся в координатах великой мысли. Подлинное познание, концептуально вспарывающее саму текстуру "мира-сознания", осуществляется гениями. Это действительный субъект науки – в ее магистрали.

И вот на этой магистрали мы видим, сплошь и рядом, разрывы и топтание на месте, связанные с краткосрочностью существования субъекта. Познание оказывается таким же штучным и невосстановимым, как и искусство. Тьма хороших, но закупоренных извне, интеллектов может в лучшем случае конкретизовать, детализовать, закрывать белые пятна на готовом полотне, сотканном метафизической интуицией гения. Что, кстати, подтверждают сами исследователи науки (Т.Кун: "нормальная наука"). Возобновить прерванное может только другой ключевой субъект познания, рождение которого проблема не только

природная, но и личностная. Сколько потенциальных гениев остались в закупоренном состоянии, будучи не в силах превозмочь прежде всего себя, свою инфантильность, а потом уже и чужую парадигмальную чару, социальные суггестии? Потому со смертью ключевого субъекта познания в той или иной науке она замирает вплоть до появления других, которые подхватят эстафету через отрицание-превозмогание парадигмы. Ограниченность жизни ключевого, метафизического субъекта познания (или нескольких), их редкость и случайность – вот действительные препятствия магистрали познания.

Скука-знание – это самоограничивающееся знание, соразмеренное с прошлым и с уже безрадостными ожиданиями предстоящего. Самоограничивающееся потому, что всегда у большинства интеллектуалов, не говоря уже о "простом народе", в глубине их душ существует дезориентация и неопределенность. Ведь само уже вдумчиво-неформальная постановка кардинальных вопросов: "Что важно для нас в этом мире? Что лежит в основании всего?" требует гигантской работы и мучений. Кто решится на это всерьез? Небольшое количество умов. Большинство не отважится и для него в основе душевного устройства зияет пустота неопределенности, которая стыдливо прикрывается обносками с чужого плеча. Отсюда прострация неуверенности и потерянности. Действительно, много читать – не перечитаешь, тем более сейчас. Много книг писать – зачахнешь. Что остается? Веселись, но помни, что за все это ответишь.

Таким образом, скука – это знание о том, как "оно есть на самом деле": пропорция, соотношение человека, масштаба его способностей принять мир и время, отпущенное ему на это. Человек, наконец, начинает понимать соразмерение себя-конкретного, этого-вот тела и превосходящее всякое воображение размерность и длимость мира. Хроническая скука – это и возможное преддверие отчаяния. Но скука еще эмоционально не скручена в отчаяние. Она – полный эмоциональный штиль и обезволение. Знание о *тщетности* парализует, расслабляет. Хотя это всегда, как правило, временное состояние, ибо мы все же неумные идеалисты. Потри хорошо самого заскорузлого скептика, отчаянного идеалиста и саркастичного пессимиста и обнаружишь ребенка, готового поверить во что-угодно и кому-угодно. Но кому это нужно?

Основные характеристики скуки-знания – разволшебствование мира, деидеализация себя, людей, общества. Ясно, что они взаимосвязанны. Какое волшебство имеется в виду? Волшебство детского, мифологического отношения к миру. Даже скорее чисто детского и уж совсем архаичного, нерационализированного мифа. На поздних этапах мифология ведь также явственно рационализируется, упорядочивается и вырабатывает свои мистические регулярности и магические правила. Условно, в самом предельном смысле, есть, конечно, и "правила" в детском волшебстве, ибо совсем без правил человеческого мышления просто не существует. Но это "правила", устанавливающие постоянство собственного главенства, собственной произвольности и игры, собственного неперемного успеха и радостных неожиданностей. Кто бы отказался играть с миром по таким правилам?

Для ребенка, а также во многом еще и для юноши, мир – это большое, всегда интересное, новое и неожиданное. Просто узнавать, впервые видеть – как это интересно и увлекательно. Если бы материальные возможности позволяли большинству людей поры зрелости и далее ежедневно, еженедельно путешествовать на самолете ли, ракете – по странам, континентам, планетам и звездам? Где была бы скука? А мы, увы, впаяны в узкое пространство-время крохотной и до детали знакомой служебно-домашней сферы, в которой однообразно функционируем-болтаемся из года в год, из десятилетия в десятилетие, зная, что возможно следующий взмах маятника маеты будет безжалостно и гулко оборван. Недаром мы так любим глоток свежего воздуха отпускного путешествия. И сейчас мы безмерно оживляемся, радуемся необычному факту, событию. Вот почему мы любим сенсацию, скандалы – как загораются наши глаза, как мы возбуждаемся, как интереснее становится жить. Тягомотину "всем все известно" рассекают бравым "а вот и не знаете, оказывается..." На чем, собственно, и построена вторая древнейшая профессия.

Незнаемость – всегда тайна, надежда на невозможное, манящая загадка. Мир для молодого человека сулит многое потому, что его сознание и эмоциональность явно скособолены в сторону эгоцентризма. Его – в центре, а мир есть благосклонная в будущем (когда я вырасту), пластичная и лепкая среда. Все должно быть к радости, неожиданности и счастью – ведь мы такие хорошие, мы

тайные избранники мира и судьбы. За видимой обыденностью мира скрываются совсем другое: непредсказуемое по обычным меркам, казалось бы случайное, но на деле родственное нам, интимно отвечающее нам, следящее за нами, тайными принцами бытия. Узнаете? Хорошо знакомые мотивы религий, мистики, идеалистической философии. А что? Кто бы, опять-таки, отказался, чтобы все так и было?

Практически-жизненная и научная рационализация развеивают первородные чары сознания. Чем дольше живем, больше усваиваем научных знаний, тем более убеждаемся в факте нашей плотной укупоренности наподобии джина в бутылке. Более яркий образ – Гулливер, очнувшийся на морском берегу в Лилипутии, и обнаруживший, что привязан тысячами тончайших, невидимых нитей. Да так, что не пошевеливаться. Так и человек обнаруживает себя в мире, где все строго детерминировано и обусловлено. Речь идет о той, среднеразмерной, зоне бытия, частью которой мы являемся.

Конечно, в социальном мире бывают случайности умильных сказок о Золушке или великие героические судьбы Александра Македонского, Чингиз-хана, Наполеона, Будды или Сократа. Есть "чудеса" и поменьше, но для абсолютного большинства людей действуют строгие законы, которые хотя и есть результат действия больших множеств, но от того не менее однозначны и неумолимы. Им можно сопротивляться, надеясь разорвать эти тысячи невидимых нитей, но для этого надобен дух и решимость, чего никогда не хватало массе.

Скука, таким образом, это фатализм, знание о громаде абсолютно индифферентного к нам гигантского, бездушного, безжалостного вселенского механизма, в котором мы сродни неясному, малоотчетливому, проявившемуся, дрогнувшему и исчезнувшему блику на его лоснящемся боку. Мы даже не его "часть", "деталь", имеющие хоть какое-то значение.

Это возникающее социально-практическое фаталистическое настроение подразумевает развенчание и собственной значительности. В безмерной и анонимно-детерминистской вселенной нет места пигмею-человеку, тем более нет речи о ее центрировании вокруг моего "Великого Ego". Человек узнает не только мир вокруг, но и себя. Прежние ожидания, упования, преувеличенное мнение о своих способностях и талантах

сменяются трезво-практическим самоотчетом о своей ограниченности. Мое "Великое Ego" оказывается мыльным пузырем, который оглушительно для себя и беззвучно для других лопается, оставляя нечто мелкое, суемящееся, озабоченное никчемными и пошлыми страстишками. И это безмерно скучно, с переходом в черную меланхолию и отчаяние.

Скука – также изменившееся, вследствие утомления и личностной девальвации, переживание времени, темпоральная трансформация. Суть ее – в приноровлении к ритмичности окружающего. Сознание соразмеряет себя многочисленным ритмам: природным, социальным, личностным (привычки). Все из них, даже последние, становятся законом, рамками существования сознания. Это было и прежде, но для ювенильного сознания это пока внове. Необходима неоднократность повторения: времен года, верениц месяцев, круговерти дня и ночи, рабочих и выходных дней, возлияний и похмелий, вечеринок, праздников и печали дней рождений – для того, чтобы режим личностного восприятия времени как *качественно квантованного* сменился режимом *сплошной его калейдоскопичности*. Периодическое предстоящее событие ранее покрывалось позолотой наших надежд, тайных упований, волнующих неясных ожиданий чего-то из ряда вон выходящего, ошеломляюще-позитивного: вот, этой весной или в следующем году непременно произойдут большие личностные события и сдвиги к лучшему. Эта-вот вечеринка, подсказывает нам истома предчувствия, особая, здесь должно случится нечто судьбоносное.

Подобную особенность нашего субъективного переживания времени – стремление, потребность маркировки некоторых событий своего проживания высокой значительностью – широко используется в виде особого ментального маневра в журналистике и шире, в идеологиях. Это – матч века, ограбление тысячелетия, человек года и пр. в том же духе. Или: "события на Голгофе организуют последующую историю человечества", "все-таки она вертится", короче – "всемирно-исторические события и всемирно-исторические личности".

Наше сознание, таким образом, имеет интенцию на дифференциацию времени своего проживания на заурядное и высоко-значимое. Последнего не может не быть. Если его нет, оно придумывается, примысливается. Но обязательно появляется у

любого человека, независимо от масштабности его наполнения: для одного – это Нобелевская премия, для другого – пошив шинели. Собственно эта дифференциация, это артикулирование содержания и есть то, что мы называем "смыслами". А ткань человеческого существования (т.е. осознания этого существования) образована из смысловых нитей. Обесмысливание скуки порождено тем, что сознание становится не в силах вновь и вновь наносить позолоту чаяний на свое предваряющее ожидание.

Иссякают силы для того, чтобы вновь и вновь радостно возбуждаться с той же непосредственностью, что и раньше, перед предстоящими событиями, ждать от них новизны. Конечно, в нас остаются все же тлеющие угольки прежнего, шумного бутуза, веселого и большого кострища непосредственности детства и юности. Все равно мы оживляемся, обновляемся с приходом весны или в преддверии дня рождения, Нового Года, рождества.

Но под этими всплесками прежнего уже проступает новое – новое властное течение восприятия времени. Суть его заключается в трансформации временной структуры переживания времени индивидуальным сознанием, в котором гипертрофированно возрастает доля "прошедшего". В юности сознание меряет мир "под себя", под свое его, под свои интенции надежды, веры, стремления к любви, свободе, смыслу и значительности. Когда сил много, организм в поре витального цветения, сознание способно подчинять свое восприятие своим эгоцентрическим упованиям. Здесь восприятие мира и переживание времени подстроено под витализованное, молодое его. Мир освоен, сделан "своим". Это и порождает особенности оптимизма, надежд юности.

Мир же оказывается совсем не пластичным и не поддатливым натиску желаний юного, амбициозного его. Объективность, размерность и властная материальность мира рано или поздно подчиняют себе сознание. Оно и ранее вполне подчинялось ритмам среды, но делало это безотчетно для себя и при том зачаровывало себя, периодически радостно взвинчивало себя тем, что приписывало несуществующую (для других) значительность тем или иным личностным событиям. Чары постепенно развеиваются, постоянно взвинчивать себя нам мешает наша память, устойчивость дежа вю: это уже было – и ничего не случилось. И опять было неоднократно. Возникает феномен *преднайденного будущего* – основы скуки.

Будущее – уже прошедшее, бывшее. Что будет завтра, весной, в следующем году, на работе, дома, на вечеринке – все заранее известно, как по служебному расписанию. Не беремся, правда, судить о более отдаленном, загадывать на годы-десятилетия вперед, но в душе елозит здоровенный червяк сомнения в отношении каких-либо перспектив – не изменится ничего радикально и в обозримом будущем. Все просчитано, предвидимо, известно. Это-то и скучно. Нет ничего нового под этим солнцем, что было, то и будет. Все пройдет.

Можно лишь утешиться двумя обстоятельствами. Во-первых, принцип порядка организует ту часть вселенной, в которой мы живем. Во-вторых, автономия, которой обладает сознание, позволяет создавать тот порядок, который более соответствует нашему душевному устройству.

Все же в досаде и хандре человек переживает маелтность своего существования как тяжелые, неприятные, но в целом *эпизодические* состояния. Надежда жива и умирает последней. Но когда она все-таки умирает все начинает приобретать тотально-трагический характер. Надежда и вера в собственную значительность – это универсальные душевные анальгетики, жизненные болеутолители. Если повседневная действительность, суетные будни не дают человеку никаких поводов, знаков, которые бы он с радостью мог интерпретировать как начало исполнения надежд, то постепенно притупляется, а затем и вовсе исчезает терапевтическое действие этих экзистенциальных болеутолителей. В юности нерастроченная еще витальная мощь организма постоянно подпитывает веру и надежды радостью, воодушевлением периодических жизненных подъемов. Интенсивность деятельности секреторных желез, безоблачность быстрой восстанавливаемости сменяются где-то к среднерубежью жизни стартом прогрессирующего иссякания жизненных сил и все большим сгущением на личностном небосводе туч свинцовой усталости. Жизненное утомление – закон жизни человека, различны лишь реакции на него в зависимости от зодиакально-психологических особенностей, меры личностного самообладания (обладания своим "я") и культурно-этнической специфики. Различна и жизненная длительность, периодичность фаз досады, хандры, формы их переживаний.

Человек длительное время считает досаду и хандру временными, злободневно-проблематическими состояниями, т.е. полагает, что они связаны лишь с текущими затруднениями, преодоление которых устранил и дискомфорт закупоренности. Однако повторение – мать учения. Это тривиальное, но, одновременно, садистское наблюдение глубокомысленно указывает на принуждаемость человека к смирению перед неприемлемыми для него правилами бытия. Из той же обоймы "военной педагогики бытия": "не можешь – научим, не хочешь – заставим". Как бы человек не стремился скрыться от прагматизма, утилитаризма своей яви в заповедные пущи идеализма и фантазий надежд, холодный огонь практического рационализма рано или поздно испепеляет эту диковинную душевную поросль, оставляя беззащитное теперь его в голой пустыне маяты. Человек убеждается в неискоренимости и абсолютности мироустройства, заставляющего его, как бы он сопротивлялся, не уверял себя в обратном, выполнять те жизненные па, которые ему предписаны. "Ну нет, - скажет иной философ, - дудки, в душе я свободен!" Да, свободен, свободен строить ироничные физиономии в отношении "низкой действительности", вставать в высокомерно-интеллектуалистские позы по отношению к "толпе" – но только в сознании, а житейски разделять судьбу остальных. Впрочем, сама подобная философская уверенность и есть один из болеутолителей сознания, способствующий серьезному ослаблению страданий маяты. А что еще нужно и чего вы еще ждете?